ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВ

Чувствую, что они завелись. Главное, раз в тридцать лет они начинают шевелиться. Я уже сотни раз мысленно посчитал, когда они снова начнут шевелиться, чтобы как-то предотвратить, чтобы как-то вовремя спрятаться от них, чтобы не попасть под их шевеление.

Но главное не в этом. Главное, что они прекрасное... прекрасному меняют, главное, что они низменные черты пробуждают и пробуждают всечасно.

Я уже давно заметил, что низменные черты пробуждает - от того подальше.

И вот теперь они...

Ну хорошо, что в конце концов они со мной могут сделать в своем низменном, так сказать, шевелении? Душу убить? - они мне давно не могут.

А это для меня главное: если душа жива, значит, и сам жив, значит бессмертен.

Но вот что плохо: это то, что они заставляют о себе думать, словно говорят: "Думай, думай о нас - мы завелились, именно для того и завелились, чтобы ты о нас думал. А пока ты думаешь - ты наш, наш голубчик, а нам больше этого ничего и не нужно.

Чем больше ты думаешь о нас, тем больше будешь притягиваться к нам и так притягиваться, что и сам вскоре завелешься.

А ведь с чего началось? Ведь началось с того, что болота прошла гроза; гремихал гром, молнии блистали, а после этого заквакали лягушки, - ведь есть эпохи, когда на болоте лягушки только что и делают, что квакают.

И хотя в такие дни стоит теплая сырая и даже чем-то приятная погода, которая, кажется, предвещает солнечный и

жий день, а вот то что лягушки квакают - это как раз и
ощущает, это как раз и настораживает, хочется спросить:
"А что они все квакают? От радости ли: от того ли, что дол-
жен наступить этот теплый и ясный день, или еще от чего дру-
гого?"

И потом лягушки: тут как ни верти - всё равно лягушки,
но еще лягушки с торчащими из воды ртами и этими ртами хва-
тающие резную мошкару.

А может быть, среди этой мошкары твой брат, сват или
не они - вот что страшно и вот о чем стоит подумать.

Так вот, с этого и началось: с того, что прошла гроза,
гремел гром, квакали лягушки... Ну и наквакали.

Что им, лягушкам? - Пошел дождь: сунул голову в воду -
сиди и жди, когда выглянет солнце, не то нам, земноводным.

...Так вот, прошла гроза, квакали лягушки и уже залете-
ли какие-то бабочки и мотыльки, уже разлетелись кучки и
стрекозы, уже пошли над водой какие-то веселые круги, когда
вдруг над болотом поплыл туман: сначала - клочками, потом
седой,а потом и как дым - не передохнуть, и тут же сразу
и пошли слухи: зашевелились, они зашевелились.

Нет, сначала был едва слышимый стук, вот как будто кто-
то как по дереву стучал, по стволу, время от времени стучал
так стучал, что хотелось спросить: "Отчего он стучит, че-
го ему надо?"

Потом, кажется, стук прекратился; кажется, смолк: упал
себя что ли? И вот тут-то и поползли слухи: зашевелились,
они зашевелились.

Должен сказать, что я до тех пор никогда не думал о
них, и никогда в голову не приходило, что они существуют,
но они есть.

И никогда я не знал, что они время от времени начина-
ют шевелиться, ну и еще кое-что...

Я о слухах никогда раньше не думал и о распространителях их.

Но вот однажды, когда вдруг стемнело и захотелось с кем-то поделиться - отчего эта темнота, так тут же сразу и вспомнилось: "говорят", сразу же и пошло: говорят, говорят.

...Да, была гроза, был гром, плакали лягушки; потом появились слухи, прошел стук, стемнело и тут же стало известно: говорят, говорят и даже песня кем-то была сочинена и долго слималась над лесом:

"А пускай говорят", но и она не могла помешать распространяющимся слухам, отчего торчащие из воды головы лягушек сразу же попрятались, а с неба даже вроде что-то закапало - уж не дождь ли?

И вот тут-то как раз, может быть, перед долгим затяжным дождем; как раз, может быть, перед новой грозой, вдруг похолодало, исчезли комары и мухи, бабочки и стрекозы, подул северный ветер и понесло, понесло, а потом сразу же и стемнело.

И сразу же стало страшно, так страшно, что захотелось этот страх развеять, к кому-нибудь прильнуть; не очень, может быть, прильнуть, а слегка прильнуть, чтобы этот страх исчез, чтобы он больше не слимался.

Вот я и решил прильнуть к возлюбленной своей - но не тут-то было, потерпел полное фиаско, потому что и там этот страх возник, и возник не где-нибудь, а в глазах и с какой-то предсмертной болью.

А главное не в этом, главное я уже давно знал, я уже давно предчувствовал, что стоит им хоть один раз зашевелиться, как она сразу же с ними и объединится.

Конечно, где-то там, в глубине, в душе, она будет жалеть, сочувствовать и даже со временем, может быть, поставит памятник.

Но стоит им зашевелиться, как она за них, за них - не против меня, все-таки за них:

ты прав, принц датский, Гертруде милей шоколад
ленинградский...

Так что же все-таки было-то?

Сначала была гроза, гром, стук, слух, стемнело, а потом [illegible], понесло и не от меня, к себе: колючки, кусты, кусищи, болотная грязь, и вдруг забулькала, забурлила вода и окрасилась, как в кровь, в черный цвет.

И вот тогда, кажется, тогда, а может быть, и раньше появился он, а вернее эти два разъяренные, два способные наливаться кровью глаза.

Нет, не было, в самом деле не было: еще не летели, не ударялись камни, не стонали, не рушились дома, а просто, забулькав и взмутив воду, по стеблю кувшинки появился он, на освещенной светлой полосой болота появился он, а вернее эти два "способные", два пугавшие меня глаза.

Да он еще меня тогда пугал, тогда пугал, когда, чтобы заглушить тоску и скуку он возбуждался, и тогда мне виделась другая картина: он хохочущий, он разбрызгивающий, он склоненный, а за спиной трубы заводов, крематориев - пепельный смог, идущий из глаз.

Впрочем, говорят, он пользовался большим успехом у самых молоденьких и мечтающих получить отличный балл.

Он увозил их на дачу и там их соблазнял.

Я не получал двойки, но и он возбуждал меня, так что и я оглядывался по сторонам в поисках какой-нибудь смазливой соседки.

Тогда я еще не знал, что тот, кто возбуждает в тебе низменные чувства, твой потенциальный убийца.

Ну хорошо: была гроза, был гром, стук, слух, стемнело, а потом задышало, понесло - дома, горы, и не от меня, ко мне, и вот тогда появился он, тогда и появились эти два способные наливаться кровью глаза...

Но разве это было страшным, разве то, что сначала - стук, слух, стемнело?

Страшным было то, что вслед за тем, что они зашевелились, стало известно, что они поползли.

Вот что было страшно. И вот отчего я на какое-то время

[illegible]

Ну хорошо, я, я, привыкший смотреть в глаза, я не боявшийся смерти, хорошо я. Но как ты? Вот вопрос? Как ты, мой [illegible], мой прекрасный?

Страшно то, что ты упадешь, чиркнешь по небу опавшей [illegible], опаленным камнем, а из моих глаз не будет ни слез, [illegible] растущих на ветру и в ночи.

/Я сказал и этим облегчил свою душу./

И С Х О Д

Что за наслаждение врать. Иной раз врешь, врешь, остановишься и сам себе скажешь: "Вот как заврался: врал, врал и вдруг сказал правду".

А то стоишь с приятелем где-нибудь на Невском, ночью, и вдруг ни Невского, ни приятеля, один телеграфный столб и ты где-нибудь в какой-нибудь Вятинце или Америке.

Впрочем, ничего плохого насчет Америки я не хочу сказать: я был там проездом; город как город, как все провинциальные тамошние города, весь в вишневых и даже черешневых садах, есть там и детали, где вполне сносно отдыхают дети [illegible] и рабочих.

Так вот, дело совсем не в этом, а в том, что я в свое время убедился, что нет ничего скучнее выраженной вслух мысли. Конечно, пока она там созревает в голове, это может быть и представляет немалый интерес и некоторую фантазию, но стоит ее воплотить, то есть как-нибудь произнести, тут-то и начинается скука, а проще говоря, то, что мы русские в минуты откровенности говорим: тоска.

А ведь не понимают, какое вдохновение вдруг охватывает тебя, когда ты врешь. А сколько наконец легкомыслия и связанного с ним наслаждения доставляет тебе ложь.

А разве без легкомыслия жил когда-нибудь человек: ведь в конце концов если подумать, может быть, вдруг и оказаться, что самое серьезное дело и есть самое легкомысленное.

Вот возьмем какую-нибудь страшную бомбу: эта бомба

легкомыслие. Взрыв – и человека как не бывало. Да человек, муха и та умирает. Да и как умирает. Подрыгает, подрыгает лапками, повертит стеклянной головкой и сандали в сторону.

А эту бомбу наверняка делал какой-нибудь поборник истины или любитель современной науки и если не такой, чтобы уж, а все-таки и он наверняка был уверен: не зря свое время живет, не зря под Луной ходит.

Опять же о Луне. Тут я недавно слышал, ибо газет не читаю (я был в самой дальней, глухой деревне, именно для этого и выбрал, чтобы газет не читать), так вот, я слышал, что кто-то там уже побывал на Луне и какой-то там мешок с камнями приволок на землю.

Так разве это не легкомыслие: зачем, спрашивается, с Луны таскать камни, когда у нас на своей земле своих хватает камней и кирпичей.

А кирпичи вот к чему, ведь тут такая мысль назревает: ведь если собаке пришить человеческий палец, будет ли или нет палец или умрет сама собака?

Так вот, возвращаясь к этой самой Луне, которая, говорят, как-то там начала сыпаться (до сих пор не сыпалась, а вот теперь начала сыпаться), так вот, если к Земле добавить лишнего лунной поверхности, прилепится ли она здесь или не прилепится, или не произойдет ли какой-нибудь страшной земной катастрофы?

Может, этот кусок иноземной породы обладает какой-нибудь лунной субстанцией, о которой никто и не догадывается и которая может всколыхнуть умы человеческие, что и приведет к гибели цивилизации.

А ведь это страшно. Ведь это гибель всего человечества. Тогда тут совсем не до мух.

Луну-то в конце концов могут взлететь, это их дело. А как же с ними? Что ты будешь делать? Кто ты такой, если ты даже не миллионер. Говорят, миллионеры в последнее время придумали прятаться в сейфе, глубоко под землей, и им с этой самой Луны на все остальное наплевать.

А вот кто ты? Кто ты? И поди, скажи что-нибудь против?

– Кто ты такой? – спросят. – Как тебя звать и кто у тебя жена и дети, и где ты записан.

Вот и приходится иногда сворачиваться, если и не в четверо, то по крайней мере вдвое, потому как целиком не разложишься, а если и разложишься, тебя кто-нибудь обязательно [illegible].

Вот, например, месяца два назад в один прекрасный день я говорю моему шефу (я в то время был громкий поборник нетленных и правоты, а когда речь заходила о справедливости, просто [illegible] попробуй что-нибудь мне сказки против - сразу в слезы, [illegible] что в слезы: "Как вы можете, - говорил, - вы, такой прекрасный человек, как вы можете так осквернять человеческую [illegible]").

Так вот я и сказал примерно это же самое моему шефу: "Как, - говорю, - вы можете быть моим начальником, когда у вас нет никакого представления об идеале и когда вы не только начальник, но и негодяй, оставивший в слезах свою жену и [illegible] ребенка".

И знаете, что он мне на это ответил?

- Молодой человек, - сказал он мне, и не без легкой [illegible], - молодой человек, я уже давно присматривался к вам и, надо сказать, не без удивления. Где вы живете? Сколько вам лет? И где вы, собственно, были в ваши последние [illegible] три с половиной года, не считая тех самых девяти с [illegible] месяцев...

- Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, - сказал я побледнев, вот только от чего - не помню.

- Вот что я имею в виду, - сказал начальник, - и сейчас, - говорит, - изложу все вам и не без прикрас.

- А сущность, - говорит, - в том, что жили-были дед и баба и была у них курочка Ряба. И снесла эта курочка яичко, яичко не простое, а золотое...

И если бы не мышка, которая почему-то вилят хвостом (чего бы ей вилять?), то яичко бы не разбилось, а если бы разбилось, то разбили бы его дед и баба, и тогда все бы было иначе, по своим мировым стандартам, и делу и бабе плакать бы не пришлось, и жили бы они, как это принято говорить, припеваючи...

И что самое главное в этой истории, - мышка вилят хвостиком потому, что она недовольна дедом и бабой, у которых где-то там за кулисами должна быть кошка, ей подавай

[illegible] и тогда она подумает, стоит ли ей вилять хвостиком [illegible] нет.

Короче говоря, эта мышка - страшная поборница правды, и [illegible] скорее может поверить, что яичко может быть золотым, а [illegible] и не поверит, то хвостиком уж обязательно вильнет.

Так вот - вы, молодой человек, находитесь в положении [illegible], ведь я уверен, что вы, как и мышка, думаете, что холо- [illegible] яичко может снести курочка Ряба и все это в конце концов [illegible] уж блеф.

- Да, - говорю, - может, хотя это все лишь просто-напрос- [illegible] сказка.

- Так вот, - говорит, - уважая вашу молодость и ваш не- [illegible] духовный инструмент, я делаю вам, как ваш начальник, [illegible] выговор.

А если подобное повторится, я буду вынужден требовать [illegible] вас удовлетворения, а в секунданты придется взять местком, [illegible] и вышестоящие организации, кончая председателем Сове- [illegible] министров. Что вы на это скажете?

- Что я на это могу сказать, - говорю, - я быстро взгля- [illegible] своих не меняю, и хотя и никогда не задумывался над русской [illegible] сказкой, но имел с ней непосредственное общение в [illegible]. Надо отдать вам должное, мне показалась интересной [illegible] мысль о мышке, хотя в простой обычной домашней жизни мне [illegible] симпатична курочка-пеструшка, чем какая-нибудь серая [illegible] мышь.

И поэтому я постараюсь обдумать все выше вами сказанное [illegible] постараюсь честно высказать свое мнение, но на это потребу- [illegible] некоторое время.

- Что ж, - говорит, - думайте, это ваше дело, думайте. [illegible] меня меньше всего интересует ваше честное мнение, потому [illegible] по закону диалектики честность всегда приводит к неволе- [illegible] и наоборот и так далее и без конца... Одно я вас [illegible], молодой человек, не плюйте против ветра, этой мощной [illegible] силы, способной вертеть мельницы и даже разрушать [illegible]. Будьте в конце концов реалистом, ибо ваш возраст отда- [illegible] [illegible] изму, сиречь романтизму, а все романтики, насколь- [illegible] мне известно, были пьяницы и идеалисты, что в наш трезвый [illegible] сурового практицизма кажется смешным и непримиримым...

После этих слов мой шеф посмотрел на меня тем насмешли-

ким взглядом, от которого мне стало как-то не по себе, и тут я почувствовал, что мне не удержаться, я не могу не [illegible], может быть потому, что очевидность его ложного происхождения для меня была слишком явной. И надо сказать, я от этого стал получать особое наслаждение.

- Вы знаете, Борислав Борисыч, - вдруг сказал я ему, - вы можете теперь меня поздравить. Я теперь получаю наследство.

- Какое наследство? - спросил он меня, и не без удивления спросил. - Откуда?

- Да вот, - говорю, - как оказалось, я наследник и крупный наследник. Как оказалось, мне привалило большое счастье: мой дальний родственник, а вернее, двоюродный дедушка, прожив одинокую жизнь эмигрантом, оставил мне довольно крупный капитал - два миллиона и ровно три цента.

И вот я теперь обладатель этого состояния, надо сказать, не столько рад первой его половине, сколько меня приводит в восхищенье вторая часть этой великой суммы.

Три цента, какая арифметическая точность! Какое капитальное отношение к своему капиталу! И все это обычно, легко и как-то в порядке вещей!

- Что уж тут удивляться, - сказал мой шеф. - Большие суммы всегда имеют свойство тяготеть к некоторой неокругленности. Ибо только эта неокругленность, очевидно, и позволяет так увеличивать и так округлять капитал. Вот, скажем, принеси я в сберкассу одну копейку - засмеют. Как, скажут, будем мы возиться с такими грошами. А одного не поймут, что без копейки и рубля нет. Но что вы будете делать с этими деньгами? - не без интереса спросил он меня.

- Как что? - говорю. - Первым делом заведу любовницу и куплю ружье.

- Ну, любовницу, - говорит, - любовницу в наше время можно завести и так. А зачем же вам ружье, когда, как известно, вы мне недавно говорили, что охотником быть не собираетесь и что охота - это вообще убийство?

- И правильно говорил, - говорю, - я им и сейчас не собираюсь стать. Просто, как без трех центов моего дедушки наследство не совсем наследство, так и любовница без ружья - не вполне любовница.

Без внутренней усмешки я увидел на лице моего шефа [illegible] удивление.

– А что-то, молодой человек, вас не понимаю, – сказал он, – как, впрочем, и всегда не понимал. Я бы на вашем месте деньги бы в банк положил, а из банка индульгенции бы получал в виде хрустящих купюр и то бы не каждый день, а так, скажем, по субботам, и так бы растягивал свое удовольствие...

– Что я, – говорю, – тут не понимать, когда это красиво. И самое-то главное, что не имей я этих денег, я бы и не мучался до этого ружья, то есть до соединения его с любовницей. Широты бы не хватило. Завел бы это как-нибудь реалистично, что-нибудь одно: или ружье или любовницу, или просто просаживал бы свои трудовые деньги на низменные материальные нужды. А как я узнал, что я обладатель этой суммы, так сразу у меня фантазия. А где фантазия, там и красота.

– Вот, –сказал мой начальник, – что-то я не понимаю вашей красоты, и хотя я от вас всего мог ожидать – это мне непонятно.

Я усмехнулся, и если не вполне открыто, то наверняка иронически.

– Да и вполне резонно, что не понятно, – сказал я, – я вам уже говорил, что вы хоть и мой начальник, но в идеальной красоте никогда не разбирались и, очевидно, вам и понять ее не дано.

Тут вот в чем соль, Борислав Борисыч, тут соль в том, что не имей я этих двух миллионов, я бы, может, так совсем и не думал, а если бы думал, то чуточку не так, а теперь, когда это привалило, я в иной, так сказать, плоскости, в ином, так сказать, масштабе. Тут дело все, Борислав Борисыч, в масштабах. Масштаб, Борислав Борисыч, строится на очень простых принципах: деньги и власть. Тот, кто этим обладает, у того крупный масштаб – тот стремится к единице. А у кого нет того и другого, тот скатывается к нулю. Вот вы, например, теперь для меня один к миллиону, а раньше, может быть, были один к десяти, а все потому, что мой масштаб изменился. Вопрос только в том, что в наше время из чего может

[illegible]: деньги из власти или власть из денег. Я, напри-
мер, склонен думать, что первое, а второе имело место не в
наш век, что по известным причинам и привело к тому, что мы
сейчас и переживаем, то есть опять же к первому.

– Да, – сказал мой шеф, как-то желая оставить в сторо-
не мою мысль, – над этим стоит подумать. В этом есть свое
"Я". Деньги в наш век имеют немаловажное значение.

– Да еще и какое значение, – сказал я. – Не имей я их,
я, может быть, и не вспомнил об этом ружье, так бы и про-
жил всю свою жизнь, не побеспокоив идею...

– Далось вам это ружье, – перебил он меня и не без
раздражения перебил. – Вы, молодой человек, лучше подумай-
те, как вы будете ходить в миллионерах. Это куда интерес-
нее. Вы не боитесь, что в наше время у вас эти миллионы
кто-нибудь и отберет.

– Нет, –сказал я. – А чего бояться. Если и отберет –
и в этом будет свой смысл, а следовательно, и своя красота.
Ведь если подумать, если кто и отберет, то отберет уже по-
сле того, как я уже стал миллионером.

– Да, странно, очень странно, – сказал мой начальник.
– И что самое странное, я никак не могу понять, чего вы
собственно хотите, молодой человек? Что вас, собственно
гнетет? Почему вы все хотите поставить с ног на голову?

– Да, – говорю, – мне и самому теперь немного как-то
странно. Я только одно теперь знаю, чтобы крепче стоять
на ногах, иногда стоит постоять и на голове, потому как
от долгого стояния на ногах, забываешь о голове и больше
думаешь о ногах. А ведь, Борислав Борисыч, по сущности по
своей, голова прежде всего должна думать о голове, а уж по-
том о чем-нибудь другом, как-то печени, сердце и легком,
и уж не говорю о желудке, этом прозаичном, хотя и очень не-
обходимом элементе человеческого существования. Ведь согла-
ситесь же, когда голова думает о печени, значит с печенью
что-то не в порядке, значит, желтуха какая-нибудь или холе-
ра какой.

– Ну и ну, – только покачал он головой и на этом наш
разговор как-то сам собой прекратился.

Весть о том, что я получил крупное наследство, вскоре
стала известна в нашем отделе.

Речь зашла о том, кто бы согласился стать миллионером, кто бы не согласился. Одни стали кричать - да, а другие - нет. Тут из двух групп - сколотились и третьи, которые не говорили ни да, ни нет, а продолжая работать, помалкивали. Надо сказать, эта группа возымела преобладающее значение в нашем отделе.

Но тут на шум из своего кабинета вышел начальник, и, узнав отчего шум, потребовал от меня объяснения, до каких, мол, я пор намерен разлагать коллектив: "Вы разлагаете коллектив, - сказал он. - А я этого не потерплю".

И я не замедлил встать из-за своего однотумбового стола, чтобы опередить надвигающиеся события, не позволив унизить сотрудников отдела поповедью, смысл которой будет прост и ясен: что это за коллектив такой, который не может вывести на чистую воду одного негодяя.

- Вы знаете, - с чувством собственного достоинства начал я, - вы знаете, Борислав Борисыч, я должен заранее согласиться с тем, что вы мне сейчас скажете. Борислав Борисыч, после недолгого размышления я пришел к выводу, что мне теперь здесь, в нашем отделе, делать нечего, раз мне так понравилось, так привалило, и поэтому я прошу у вас увольнения, то есть расчета, письменное заявление, очевидно, я не замедлю вам вскоре предоставить.

Шеф с удивлением и явным любопытством смотрел на меня. Что он обо мне думал? Догадывался ли он, что я вру или нет? Этого я не могу сказать, и по всей вероятности так и не узнаю.

- Молодой человек, - с улыбкой сказал он, - как вы знаете, я никогда не питал к вам особой склонности, я уж не говорю о симпатии - этой подпитывающе дружеских отношений, хотя некоторые (тут он усмехнулся) представляющие неожиданность субъекты всегда понимали меня. Кто они - думал я. Откуда они? И какова их природа? И что порождает их? Что порождает их в наше время, которое ничего подобного, кажется, породить не может? Вот те мысли, которые меня занимали и, наверное, будут занимать, потому что жизнь, наше существование посылает нам одно из любимейших занятий: наблюдать за теми себе подобных.

И поэтому с некоторым удивлением я подниму ваше заявление: одно мне очень любопытно, чем вы будете заниматься?

Я улыбнулся, тем самым возбудив еще больший интерес [illegible] к моей особе, и продолжал в том же духе:

- Борислав Борисич, поле моей деятельности точно еще не определено. Одно я могу вам сказать: оно будет прекрасным. Как я понимаю это слово? Не знаю, оцените ли вы мои слова, потому что вы никогда не могли меня понять, и как я уже говорил, вам, очевидно, и не дано их понять, последствия вашей целенаправленности, а именно вы всегда были [illegible] созданием материальных благ, я имею в виду всем известную продукцию, над созданием которой мы здесь все усиленно работаем, но все-таки я постараюсь вам все объяснить.

Борислав Борисич, прекрасное само собой подразумевает прекрасное, то есть то, чего нет в нашей обычной жизни, то есть то, что прекраснее этой обычной жизни. Вы скажете - это фантазия. Да - фантазия. Вы скажете - это ложь. Да - ложь. Но какая ложь, Борислав Борисич, какая фантазия? Вы улыбаетесь. Вам смешно. Мне тоже смешно. И вот этот мой смех я ни за какие блага не променяю. Смех - вот это слово! Смех - вот что действительно может быть прекрасно. Смех, способный разрушать и созидать. Все в этом смехе. А главное - ощущение собственной непричастности к остальному миру. Вот вы, мол, исполнитель, работаете ради куска насущного, а я сижу дома, передо мной чашка колумбийского кофе, сигарета дымит, и я смеюсь. Я мысленно стравливаю президента одной страны с другой и смеюсь. Я пускаю от имени одного государства другому государству ультиматум и смеюсь. И все это у меня дома, не выходя из квартиры, с миллионом в кармане. И я буду смеяться, буду смеяться и тогда, когда все вокруг будет рушиться, даже в последних содроганиях будет рушиться, даже в последних содроганиях буду смеяться.

- Ну что же, - перебил меня с раздражением шеф, - очевидно, так уж мир устроен: кто-то работает, а кто-то смеется. Вот только надолго ли вас хватит?

- Это уж я постараюсь, - сказал я, - хотя мало что зависит от меня. Тут, Борислав Борисич, скорее вопрос лич-

ность. Способна ли она воплотить идею? Гениальна ли она? Или просто так - обычная бытовая мелочь. Этого я еще пока не знал.

- Что ж, - сказал мой начальник напоследок и не без некоторого злобного оскала, - когда вы это узнаете, боюсь, что все кто-нибудь уже раздавит.

- Раздавит так раздавит, - засмеялся я. - Чего уж тут бояться, главное - чтобы во время раздавило, главное - бить бы что давить.

Я, кивая головой по сторонам и говоря то одному, то другому сослуживцу "ауфидерзеен", я поспешил выйти из отдела.

Странное чувство наслаждения и некоторой неуверенности испытывал я в минувшем разговоре. И главное - я не знал, что я буду говорить, с чего собственно начинать. Впоследствии, вспоминая все это, я только диву давался, откуда я все выдумал, откуда во мне это появилось. А вот явилось же, произошло и все это с вдохновением, я бы сказал, с некоторым биением пульса.

А скажи я правду - получилось бы скучно, и безнадежно скучно. Да и что говорить: "Да, Борислав Борисыч, будет сделано. Нет, Борислав Борисыч, какой же смех, да еще во время работы".

А тут такой фейерверк остроумия и даже ума. Вот чего я в себе не замечал до тех пор, пока не стал врать.

Одно только меня смущает и даже как-то настораживает: уж больно я и в самом деле вру, не завруться бы совсем, когда уж не знаешь - врешь ли ты или не врешь, есть ли это на самом деле или нет? А если я заврусь, что тогда?

Ведь тогда я не буду знать, говорю я правду или нет, контроля не будет. А раз контроля нет, значит, безумен. Значит, изволь отправиться в сумасшедший дом обдумывать собственное положение. А уж где тут обдумывать, когда и сам не знаешь, сумасшедший ли это дом или Малый оперный, и причем тут Малый оперный? Ведь не все же в конце концов сумасшедшие должны петь в опере, могут они в конце

[illegible] быть и в опереттe. Вот что меня пугает.

И еще одно: ведь с того самого момента, как я встал [illegible] перед начальником, до этого самого момента я [illegible] не думал увольняться с работы, а тут подл, теперь [illegible], вполне быть миллионером. И ведь о миллионе своем [illegible] и не думал, а просто думал: дай совру, и столько [illegible] - сразу миллион, а причем тут миллион, когда [illegible] никогда до самой гробовой сосны и не будет. И [illegible] самое интересное - не соври я, так моя жизнь и катилась бы тихо и спокойно, а тут еще неизвестно куда меня [illegible] и что со мной будет.

Это не чувство неуверенности и какой-то отчаянной решимости испытывал я, когда, получив в кассе восемьдесят два рубля, заработанные мною, как это принято называть, честным трудом, я вышел из дверей нашего института, которые, резко проскрипев, ударили мне под зад, на что я только бы вынужден оглянуться и в досаде почесать себе затылок. Лето было в полном разгаре и утреннее солнце ласково [illegible] мне в глаза, когда я вышел на солнечную сторону улицы.

Я подпрыгнул, скрестив ноги, а потом, весело потряхивая [illegible] ногами, двинулся по улице.

Наконец-то я был один. Наконец-то я был свободен.

Однако некоторая неуверенность все же была у меня в душе, и даже шоколадное мороженое и выпитые два стакана [illegible] газированной воды не заглушили эту неуверенность, как и не заглушили то чувство радости быть наконец вне всяких [illegible] и преград.

Рамки и преграды, рогатки и препоны - я всегда чувствовал их, начиная еще со школьной скамьи и кончая своим последним местом работы. Я чувствовал всегда страх и вину, даже и тогда, когда меня хвалили. Может быть, я уже и тогда чувствовал себя виноватым от того, что знал, что и мне [illegible] иное предназначение, иной, так сказать, жизненный путь, где в полную силу развернутся все мои способности.

- Неужели, - часто думал я, сидя за своим рабочим столом в отделе, - неужели я так и проживу печальной мухой за стеклом, когда в мире и вокруг так много солнца.

Поляны, залитые солнцем, лужайки, острова и реки

привлекали меня, и скажу не скрывая, мне хотелось резвиться на них. Работать изо дня в день – эта мораль была для меня всегда неприемлемой, и не потому, что я был лентяй или какой-нибудь там злодей, принципиально отказывающийся работать.

Нет, просто еще в глубоком детстве, рассматривая книжки и видя, как на картинках летают бабочки и жуки, мне и самому хотелось сойти на эти картинки и превратиться в любую красивую лягушку или мотылька, или, раздевшись догола, побежать в лес и в поле, где, набегавшись и наразвлекавшись, отдохнуть в прохладных травах.

Очевидно, так я был устроен, таково было мое воспитание и заложенная во мне духовная конструкция, что моя работа мне казалась скучной и непривлекательной. Или, быть может, где-то я обошел свой талант или его обошли, и он так и остался, так и не смог себя проявить, не смог развернуться.

Вот поэтому мне иногда, особенно во второй половине рабочего дня, сидя за столом, нестерпимо хотелось раздеться и, пробежав голым по отделу и по коридорам нашего научного института, выбежать на улицу: "На, принимай меня, мать-природа, в чем ты меня родила, в том и принимай".

И теперь я был свободен – так по крайней мере я подумал, когда я вышел на улицу. Но так ли? Свободен ли? Откуда это чувство неуверенности, о котором я уже говорил и которое с каждым часом разрасталось.

– Позвольте, а что, собственно, я буду делать? – само собой лезли в голову дурацкие вопросы. – Что я буду делать, когда у меня кончатся эти мои трудовые деньги, эти насмешливые восемьдесят два рубля?

Все эти вопросы несколько часов занимали меня, и по прошествии этого времени я разом их отбросил.

– Будь что будет, – решил я. – Почему бы и мне не попытать тем пошловатым кунчиком, тем веселым миллионером, который на досуге покупает себе ружье и соответственно этому делу заводит себе любовницу: ведь и дорогой собаке необходим дорогой ошейник.

Знакомый хруст денег в кармане как бы возвестил о начале моей "авантюры". Я подпрыгнул и правой ногой уда-

ди по небольшому камню. Камень, свистя и описав дугу, попал в колесо проходившего мимо автобуса и, отскочив, больно ударил меня по ноге.

- Зараза, - воскликнул я и, чуть прихрамывая на ходу, поспешил к спортивному магазину. По дороге я уже чувствовал спиной холод дула у себя в затылке.

В магазине я долго торчал у прилавка, рассматривая различные охотничьи принадлежности. Должен сказать, я впервые проявил интерес к подобным предметам и они произвели на меня особое впечатление.

Глядя на уйму различных предметов, как то: рюкзаков, курток, гильз, пыжей, зажимов и какой-то дотоле мне неизвестной охотничьей оснастки, перечисление которой явилось бы научным занятием, я удивлялся широте человеческой деятельности.

- Да, восклицал я сам себе и не без пафоса. - Какое удивительное создание человек и в какие только дебри познания он не забирался. Какие уловки он построил, чтобы реально господствовать над природой. Начиная с простого охотничьего ружья и кончая современным страшным оружием. Тут я поймал себя на мысли: "Кто я в этом сонме бесчисленных человеческих существ, какой дар я вкладываю в это общечеловеческое дыание? Кто я? Охотник или убивающий на лету птицу или зверя, кто отстраняет уже стрелявшее ружье от намеченной жертвы. Или, может быть, я тот, кто спокойно созерцает, как убийца, так и милосердие отстраняющего, наслаждаясь созерцанием того и другого.

- Да, сказал я сам себе, - становиться охотником или кем-то противоположным ему - это две крайности, присущие человеческой ограниченности.

Только вобрав разом все вместе, только спокойно рассматривая их как нечто испокон веков присущее человеку, я могу сохранить свое человеческое "я", то есть способность к дальнейшему своему совершенствованию.

- Неужели, - думал я, - человек, современный человек, может быть только одним из механизмов, одной клеткой всеобщего

человеческого организма? Неужели он не способен охватить все виды деятельности, а остается токарем или инженером по электрооборудованию? Ведь тут противоречие. Ведь мало ему быть только тем-то и тем-то. Ведь хочется ему быть вон тем. Или только фантазия позволяет ему воплотиться в того, или другого, давая ему наслаждение, может быть, сильнейшее, чем его человеческий род деятельности.

Что же мне делать? Служить ли предопределенной мне ограниченности, признавая некоторое совершенство этой ограниченности, а следовательно, снова вернуться в отдел, чтобы прилежно работать над созданием материальных благ, постепенно становясь ярким поборником правоты и справедливости определенных догм, которые, несомненно, способствуют возможности человеческого существования?

Или как-то постараться охватить все виды человеческой деятельности, если и не прямым действием (не идти же мне в конце концов в ассенизаторы), а мысленно, то есть посредством фантазии. Все эти вопросы разом обступили меня и я надолго застыл у витрины, тем еще раз подтверждая высказанную великими людьми истину, что мышление отнюдь не способствует деятельности.

- Молодой человек, - вдруг я услышал над своим ухом один из приятнейших женских голосов, - вы что-то хотите купить?

Я покраснел, как будто меня уличили в небольшом преступлении, во мне происходила немая борьба - покупать или не покупать - и этот голос как бы мне напомнил, что надо принять в конце концов какое-то решение.

- Мне ружье, - сказал я, поднимая глаза и видя перед собой по ту сторону витрины девушку, примечательность которой не выходила за рамки обычности. Как присущее ей индивидуальное качество, я отметил родинку над верхней губой и то, что эти обычные компоненты создают ее образ, образ индивидуума, женщины, а не только продавщицы охотничьего отдела.

"Ведь у нее есть душа, и может быть, и она способна мыслить и понимать прекрасное? - моментально пронеслось у меня в голове. - Ведь у нее, возможно, за внешней банальностью туалета и одежды бьется чистое сердце. Ведь банальность

-то он, может быть от бедности, от занимаемого в обществе положения.

- Какое вы хотите? - спросила она меня, показывая взглядом на стоящие за прилавком ружья.

Первое, что я увидел, были цифры: восемьдесят два рубля, восемьдесят девять, сорок семь и еще была какая-то трехзначная цифра, на которую я не обратил никакого внимания и поэтому не запомнил.

- Мне подешевле, - сказал я дрогнувшим голосом, выдавая свою осведомленность в ружейном деле.

- Вот это самое дешевое, - сказала продавщица, взяв одно из стоящих ружей и положив его за застекленную витрину перед мной. - Сорок четыре рубля.

Моя рука невольно скользнула в карман и я снова услышал приятный мне хруст денег.

Не глядя на продавщицу и на ружье, чтобы еще раз не выдать свою осведомленность и все мои сомнения, и даже презирая меня, весь мой организм, так что я вспотел, жадность, то есть нежелание тратить много денег на эту сущую ни мне безделицу, на это двухстволькое ружье, калибр которого так до сих пор мне и остался неизвестен. Да и что толку, если бы мне сказали калибр - я был настолько некомпетентен в этом вопросе, что скажи мне калибр 12 или 17, где-то я слышал, что существуют такие калибры, я бы только усмехнулся, но и не отдал предпочтение тому или другому.

И кроме того ведь я еще не знал, на кого я буду охотиться - на водоплавающую ли птицу или на медведя, а вернее всего никуда не собирался ни на кого охотиться. Ружье мне было нужно, как я уже говорил, как дополнение к любовнице.

И поэтому, не глядя на ружье и на продавщицу, я быстро произнес: "Я беру. Заверните, пожалуйста".

- У нас ружья не заворачивают, - сказала она мне тем покровительственным тоном, от которого на лету мрут мухи, а люди грубые и малые начинают кричать и драться.

И промолчал, тем самым выиграв уже готовый начаться мелочный поединок, который ни к чему хорошему, кроме обмельчания человеческих чувств, не привел бы. "Я был о вас лучшего

[illegible], - подумал я про нее. - Ну что ж, живите..."

И высоко и победно держа голову, я направился к кассе, где выхватил из кармана восемьдесят два рубля и кинул их в окошко.

- Сорок четыре рубля, - небрежно сказал я, взглянув на кассиршу, а в ответ мне блеснули стекла роговой оправы: "Сорок четыре..."

Я услышал шелест отсчитываемых денег, вслед за этим стук, напомнивший мне стук пишущей машинки, а потом что-то загудело, забурчало в машине и вот чек с оставшимися тридцатью восемью рублями лежал передо мной.

- Сдача. Тридцать восемь рублей, - сказала мне кассирша, еще раз блеснув стеклами очков, и тем самым как бы указывая на деньги.

- Любовница. Тридцать восемь рублей, - сказал я сам себе, направляясь с чеком к прилавку, где двумя стволами, как двумя адскими черными отверстиями, в которых гуляет и свистит ветер, смотрело на меня мною купленное и уже отчасти мое ружье.

По приходе домой я вбил гвоздь в стену над тахтою и повесил ружье на этот гвоздь. Надо сказать, я старался не смотреть на него. Не знаю, почему это происходило, но два ствола действовали на меня как взгляд блистательной женщины: чувствуешь, что попался, что виноват, что ты, наконец, ничтожество.

Так вот, повесив ружье на стену, я лег на тахту и предался размышлениям. Ноги мои были полусогнуты, одна нога покоилась на другой, спина моя возлегала на подушке, а в руке у меня была сигарета, которая, сладостно отравляя мой организм, помогала мне размышлять и фантазировать.

- Ах, - думал я, - Как прекрасна жизнь, как, черт возьми, прекрасна. Ведь как мало человеку в этом мире надо: купил ружье, повесил его на стену - и счастлив. А раз счастлив, значит, один со всеми, значит человеческая гармония восстановилась, так чего же больше желать, значит человек может спокойно себе сказать: да, не напрасно я живу на этой

жизнь, а раз не напрасно, значит можно спокойно в любое время и умереть.

"Умереть" - вот это слово, которое меня постоянно привлекает своей гипнотической жутью. Рассматривая эти два понятия - жизнь и смерть, я всегда удивлялся, что смерть - разрушительница человеческих жизней, что жизнь всегда на стороне у смерти. Это соотношение мне представлялось довольно обычной картиной: застывшая в царственной позе змея с вытянутой головкой и переваливающаяся и упирающаяся, не желающая навстречу своей гибели лягушка, орущая страшным и почти человеческим голосом.

Невольно возникала мысль: "Каким же голосом кричит человек, чувствуя приближение смерти, уж не пронзительно ли ревущим голосом того животного, зародыш которого похож на зародыш человека?"

Так или иначе все эти мысли о смерти заставили меня снова взглянуть и тотчас же отвести взгляд от ружья.

- Да, черт возьми, - подумал я, - купить ружье - это все равно что повесить над своей головой бомбу, взгляд на которую рождает всего лишь единственную мысль: "Помни о смерти".

Приободрившись, я снял ружье с гвоздя и, соответствующим образом надломив его, заглянул в два уходящих, но все же видящих выход стальных туннеля. Что они напомнили мне, когда я смотрел на них? Что-то давно забытое, мелькающее где-то далеко в подсознании, как будто нечто подобное я уже видел в совсем иной какой-то жизни, в прежнем каком-то своем воплощении. Мне показалось, будто я стою в персидском халате на стенах Самарканда и подобным же образом заглядываю во внутреннюю полость этого не страшного по нашим временам оружия убийства.

Да, так оно и было, ибо ощущение пронизывающей сладостной дрожи и радостное предвкушение охоты было когда-то во мне, ведь я точно знал, оно уже было когда-то. И хотя я с точностью не знал, был ли мой предок на стенах Самарканда, и отнесем это к области моей фантазии (хотя почему Самарканда, а не Барселоны?), то ощущение, что я подобным же образом заглядывал в ружье, было явным.

Вскоре, ружье и связанные с ним размышления не долго занимали меня, скажу даже, что они занимали меня совсем мало. И как-то охладел к нему и по прошествии некоторого времени я уже мог спокойно смотреть на ружье и даже довольно со стороны.

Что я находил в нем раньше привлекательного? Почему до того, как я стал его владельцем, оно казалось мне чем-то волшебным? Вот те мысли, которые быстро охладили мою любовь к ружью.

Только одно сохраняло некоторую привязанность к этому конкретному предмету убийства: мысль о том, что ружье - это только часть задуманного мною, но не выполненного плана, второй частью которой была любовница.

"Любовница" - это слово меня повергло в глубокое смущение, ибо само его звучание казалось мне каким-то грубым и вульгарным.

Кроме того смущение вызывалось и тем, что, оставаясь в мире мечты, я, можно сказать, так и остался внутренне девственником, ибо редкие случайные события с женщинами не могли повлиять на мое духовное развитие.

Должен прямо сказать: я никого не любил.

И поэтому слово "любовница", которое мне рисовало, кроме сладостных грез и объятий истинную великую любовь, повергало меня в глубокое смущение, а может быть, даже в отчаяние.

- Неужели я так никогда и никого... - с отчаянием думал я. - Неужели я так никогда никем не буду любим?

И вот теперь мне предстояло "ее" найти.

Найти - искать. Я понимал, что чем больше я буду размышлять об этом, тем дальше будет удаляться от меня желаемый предмет, никоим образом материально не воплощаясь.

И поэтому, встав с тахты и надев свой новый костюм цвета светлого невыгоревшего хаки, повязав на белую рубашку галстук пурпурного красного цвета, я в блестящих от крема коричневых туфлях вышел на улицу.

Мой дом, то есть дом, в котором я живу, находится недалеко от Невского проспекта, который в свое время был центром города. И все-таки он и сейчас центр города и останется им, очевидно, навсегда, пока будет существовать этот северный город, имеющий свойство распускаться весной и летом зеленой

[illegible] многочисленных своих садов, а осенью и зимой топить [illegible] серых туманов, так что желтые огни вечернего осве[illegible] [illegible] ограниченными световыми пятнами. Так бывает [illegible] осенью или зимой, а сейчас было лето, июнь стоял [illegible] и солнечный, на Невском пахло земляникой, а женщины [illegible] бабочками проплывали мимо.

[illegible] - я всегда их относил к какому-то возвышенному [illegible] красоты, лежащему за пределами человеческой особи, мне [illegible] они казались похожими скорее на бабочек или других [illegible] созданий, хотя я и понимал, что я недостойно идеа[illegible] [illegible] назойливых любительниц булок и эклеров.

Так или иначе я вышел на Невский и стал медленно прохо[illegible] по правой стороне проспекта, не глядя ни на магазины, [illegible] ни витрины, ни туда, где что-то продавалось с лотков, я [illegible] на проходивших мимо женщин.

- Вот они чудесные создания, приподнявшиеся на [illegible] каблу[illegible] и тем самым показавшие одну из обольстительнейших час[illegible] тела, ногу, во всей ее прелести и красоте, выбирай любую [illegible] ногу, конечно).

- [illegible]ирай любую, - повторял я, то и дело заглядывая в [illegible] открытые женские лица, ища в них осуществление того идеа[illegible], который я создал за годы фантазии, находясь наедине с [illegible] собой на этих двенадцати метрах коммунально-квартирной [illegible], соответствующим образом развалясь на тахте и [illegible] по[illegible] под голову подушку.

Странное дело, мне всегда казалось, что то, с чем я [illegible], моментально узнает тот, на кого я мысленно обращаю [illegible] взор, и родственная душа соответствующим образом доле[illegible] [illegible] понять и по достоинству оценить.

Так и в этом случае мне все казалось, что вынырнувшая [illegible] [illegible] прекрасная незнакомка, встретившись с моим взглядом [illegible] [illegible] его по достоинству, просто-напросто подойдет ко мне [illegible] скажет: "Пошли", и кроме того даже назовет меня по имени.

- [illegible]шли, Евгений, - скажет она, а куда пошли, это уж [illegible] будет иметь никакого значения.

Но этого, к моему огорчению, не случилось, этого, к мо[illegible] [illegible] печали, не произошло, и я проследовал от начала Невского, [illegible] есть от Александро-Невской лавры до самой Дворцовой пло[illegible], так по-прежнему оставался наедине с самим собой.

В глубоком размышлении я остановился над Александрийским столпом.

Александрийский столп – как часто я его видел в дни [ранней] осени, когда только ангел с крестом проступал сквозь [туман], как часто я наслаждал[ся] своей взор в солнечные зимние [дни], когда он покрывался серебристым инеем...

Но это было когда-то, а сейчас взгляд на него оставлял [меня] совершенно равнодушным, хотя я и понимал, что это равнодушие проистекает не без известных на то мне причин.

Я только сказал, обратившись к нему, как к старому знакомому:

– Стоишь, брат? Ну и стой? Сегодня стоишь, завтра стоишь, а послезавтра еще неизвестно – будешь ли стоять.

На что, разумеется, он мне ничего не ответил.

– Такова история, – продолжил я свою мысль, – человечество с легкостью отказывается от прошлого, уповая на лучшее будущее, тем самым забывая о настоящем...

Так я стоял под Александрийским столпом, слегка опершись на него и скрестив руки, предавался размышлениям, пока [наконец] единственная мысль не сформировалась у меня в голове:

"А что я собственно здесь стою под классической формы [памятником] с крестом и ангелом во главе, что я собственно здесь [стою], когда любовница уже есть, уже ждет меня, достаточно [мне] только первому сделать решительный шаг – и она будет моей.

Да, она будет моей, я это точно знаю, она будет моей – очаровательная блондинка с насмешливыми глазами, эта [новая] Золушка коммунально-квартирной системы".

Эта мысль до того меня восхитила, что я мысленно уже [представил] все прелести моего будущего знакомства.

"Да, да, – думал я, – вот она моя избранница, вот она [моя] прекрасная находка. И теперь я знаю, что мне надо делать. Я подойду к ней на кухне ибо где же еще лучше это сделать, как ни на кухне, среди всех этих кухонных запахов, [ароматов] и паров; я подойду к ней и скажу: "Вера Александровна, в чем же дело? Мне двадцать три, а вам тридцать, в чем [же] дело? Ведь по сущности-то своей мы, если уж как следует [разобраться], давно уже некоторым образом соединены, проживая

...ж с ним, так сказать, здесь в нашей коммунальной квартире, ...лишь какой-то незначительной перегородкой, имя ...рой - стена.

Так почему же нам не приложить совместные наши усилия ...того, чтобы еще как можно ярче и больше разгорелось на... совместное единение?"

И вот я был уже дома, уже лежа на тахте, уже положив ...ку на ногу, я предавался тем размышлениям, а вернее тем ...ставлениям, которые доставляли мне свое особое наслажде..., и надо сказать, это состояние для меня было не новым.

Я представлял ее, то есть мою избранницу, со всеми ее ...ными формами, со всеми ее ласковыми выступами, мысленно ...скаясь от ее прекрасного лица, от задорно подрагивающих ...весело глядящих в разные стороны маленьких грудей до то... слаженного места, где начиналось сладостное междуножье.

"Я так прямо ей и скажу, - думал я, - Вера Александров..., в чем же дело? Я не урод, и кроме того у меня есть мас... несомненных достоинств, о которых я не могу умолчать, а ...нно: доброта и простодушие".

Встав с тахты и запахнувшись в халат, так что я одной ...ой придерживал полу, чтобы он не раскрылся, чтобы я слу...но не предстал обнаженным, и кроме того, надев на босу ...у домашние тапочки, я, прихлопывая ими по коридору, на...шался на кухню.

Быть может, для кого-нибудь такой мой облик покажется ...ком импозантным, но таким я всегда выходил на кухню, так ...моя соседка давно уже к нему привыкла и таким она меня ...гда и представляла, о чем и не преминула мне со смехом ...сказать.

Так вот, придерживая рукой полу халата, так, чтобы он ...распахнулся, я вышел на кухню, где при входе обычно гром...здоровался, но на этот раз решил промолчать, а незаметно ...йдя к той, что стояла ко мне спиной, склоненная над ку...ным столом, держа в одной руке картошку, а в другой нож, ...шное лезвие которого весело поблескивало на солнце.

Подойдя к ней со спины и склонившись над ее маленьким ..., и дыша в это ухо сквозь увлажненные страстью губы, ...потомка Иафета, я сказал:

- Вера Александровна?!

Она удивленно подняла на меня свой взгляд, подобное обращение по имени и отчеству было ей не знакомо.

А в остальные минуты наших совместных встреч называл просто: "Верка".

- Ах ты, Верка-инженерка, - говорил я и указательным пальцем имел свойство тыкать ее куда-нибудь в бок, на что с моей стороны получал ответный укол.

- Вера Александровна, - сказал я торжественно, хотя и без улыбки. - Вера Александровна, в чем же дело? Видит бог, мы не дети. И пора вам подумать, как и мне, о продолжении наших мирных соседских отношений.

Вера Александровна, я давно хотел вам выразить одну существенную мысль, которую не решался открыто высказать, а вот сейчас решил. Короче говоря, Вера Алейсандрова: любовница!

Я увидел на ее лице удивление, потом легкая усмешка дернула ее полные и потому еще более сладострастные губы; нужно прямо сказать, она была великолепна.

- Евгений Владимирович, - сказала она тем тоном, каким говорил и я, только в нем был еще маленький кусочек льда, плавающий маленький кусочек льда в рюмке жарко дышащего спирта. - Евгений Владимирович, вы что с ума сошли или мне это показалось? Как вы смеете со мной так разговаривать? Со мной, которая, во-первых, старше вас (она улыбнулась), а во-вторых, гораздо опытнее в известных вам некоторых моментах любви. Уж не хотите ли вы стать моим любовником?

Она нервно засмеялась и так засмеялась, что я незаметно для себя стал вторить ей.

- Уж не хотите ли вы, чтобы я вас любила, Евгений Владимирович? Или, как это у вас называется, отдалась вам? Вам, который всегда стоит передо мной в тапочках на босу ногу, в этом старом халате образца двадцатых годов.

Она расхохоталась и расхохоталась так, что легкий озноб внезапно пробежал по моей спине и, пробежав, исчез между ягодиц.

Не могу не сказать, чтобы он не был чувственным.

- Вера Алейсандровна, - сказал я и тут почувствовал внезапное желание соврать, ибо видимость ее ложного превосходства для меня была слишком явной.

– Вера Александровна, – сказал я. – Я, конечно, могу [illegible] раз извиняться перед вами за столь неожиданное вторжение в вашу жизнь, но видит бог, с некоторых пор я имею [illegible] стремительно продвинуться по службе и, продвинувшись, [illegible] образом получить некоторую сумму, которая может дать нам безбедное существование, и кроме того [illegible] возможность иметь несколько человек детей, и поэтому, чтобы доказать вам мое всегдашнее благородство, я отказываюсь от первоначального плана и предлагаю замужество.

Вера Александровна, замужество! Вот что нас может объединить, и, соединив, так сказать, официальным образом, [illegible].

Вера Александровна! – Одухотворить!

– Как, мне? – засмеялась она мне в лицо. – Вы мне предлагаете замужество? Да что мы с вами будем делать, Евгений Владимирович? И способны ли вы, Евгений Владимирович, быть мужчиной?

– Как что делать? – усмехнулся я и не подал вида, что был несколько [illegible] все же задет ее словами, ибо я всегда был уверен в моих мужских превосходствах.

– Как что делать? Что делает женщина, когда она выходит замуж за человека, у которого, помимо двухстволького ружья, есть еще машина, дача, трехкомнатная квартира и кроме того некоторая сумма, имеющая свойство округляться. Что делает такая женщина, Вера Александровна? Она рожает детей!

Я улыбался и видел, как усмешка исчезла с ее лица, а в глазах, в ее женских глазах, остановилось если не злое, то колкое выражение.

И чтобы опередить эту женскую злость, чтобы не унизить ее, ее не низменным чувством, я продолжал и не без [illegible].

– Вера Александровна, надо отдать мне должное, что я никогда никого не обманывал, а если и обманывал, то как-то [illegible], случайно, само по себе. Вы спросите меня, а где же же моя обещанная мне четырехкомнатная квартира? И я отвечу. Она со мной, здесь, в этом кармане (я похлопал рукой по карману халата), и в знак доказательства я сегодня же [illegible] направлять документы на ее получение, за которым по-

[illegible] соответствующим образом мой переезд.

К тому же, Вера Александровна, я был несколько [illegible], меня несколько шокировало, что вы сомневаетесь в моих мужских достоинствах, я даже был поражен, что вы [illegible] сомневаться в них.

Вера Александровна, я красив и красив той эллинской [illegible] красотой, которую мало кто в наше время понимает и мало кто по достоинству может оценить.

Видите, она вам была всегда свойственна и вы должны [illegible] образом ее поймете... Вот она, Вера Александровна, вот она!

С этими словами я с улыбкой распахнул свой халат.

Что я увидел? Я увидел, как моя избранница, моя сосед[illegible] сначала побледнела, а потом покраснела, ноздри ее прекрасного носа расширились и задышали, а грудь высоко [illegible] и остановилась.

И тогда я шагнул к ней навстречу.

Несколько ударов по моему лицу привели меня в то [illegible] состояние, в то состояние обычной деловой скуки, [illegible] я часто испытывал, сидя у себя на работе за своим столом.

И все-таки я нашел в себе силы улыбнуться и, победно [illegible] в ее глаза, сказать: "Вера Александровна, я сделал свое дело. Слово теперь за вами!"

И с этими словами я повернулся и, высоко и победно [illegible] свою голову, проследовал в свою комнату.

Странное чувство испытывал я, когда я пришел к себе в комнату и лег на свое обычное место.

Все мужское достоинство было унижено и все же я должен был себе признаться, что я был доволен.

Ведь и здесь, в этой последней сцене на кухне, по сути я, все бы катилось по своим обычным формам и канонам - мирное существование двух еще молодых соседей, объединенных общим словом - любовники, истинный смысл которого [illegible] это), как и от купленного мною ружья - привел [illegible] в состояние скуки.

И в то же время я себя спрашивал: "Что же дальше, жить, как это ни странно, я отрубил всякую возможность [illegible] наше мирное существование бок о бок, на этих

[illegible] "метрах" коммунально-квартирной системы. Ибо это зна-
[illegible] мне дни в день читать в "ее" глазах постоянный упрек.
"Эх, нет, Евгений Владимирович, хоть и обещали на мне не-
[illegible], вы в моих глазах теперь негодяй и просто подлец".

И все-таки я должен был еще раз признаться, что не
[illegible] я - я бы не испытывал того наслаждения, которое я
[illegible] постоянно, суть которого: хотя бы на единый мо-
[illegible] осуществление своей мечты. Я бы назвал это наслаждение
[illegible]. И главное как раз было в том, что и сам не зна-
[illegible], что сколько и какие следствия и поступки явятся из
[illegible] своего пранья и к чему приведут.

И все это с вдохновением, игрой, что присуще скорее
[illegible], творчеству, чем простой обычной будничной жизни.

И глянул на висевшее на стене ружье и улыбнулся:

"И ты вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье"..

[illegible] на стене так ни разу не выстрелившее ружье, я
[illegible] по лестнице и вышел на улицу.

Свобода и неизведанное открывались мне во всей прелес-
[illegible] и манили.

[illegible]